

ПЕСНЬ АТЛАНТИДЫ



ИСТОРИИ ТОНУТ,
НО ПАМЯТЬ ВСПЛЫВАЕТ

Асмодей Денница

ПЕСНЬ АТЛАНТИДЫ

«Автор»

2026

Денница А.

ПЕСНЬ АТЛАНТИДЫ / А. Денница — «Автор», 2026

Эта повесть — не пересказ древней легенды, а её тёмное продолжение. Северное становище Навья-Губа, конец XIX века. Сюда, спасаясь от памяти о погибшей пациентке, приезжает молодой врач и этнограф Северин Лазарев — собирать предания, но вместо них находит ту, кого в деревне боятся больше, чем чумы: девушку по имени Нерида, которая поёт во сне, и на её песню из глубины поднимается нечто древнее.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Хроника воды	5
Глава 1. Гость из столицы	12
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Асмодей Денница

ПЕСНЬ АТЛАНТИДЫ

ПРОЛОГ. Хроника воды

И было слово «море» — темно и сладко, яко мёд, и древнее самой земли. И вложил Господь в уста девичьи песнь, которой не знал никто из живущих, ибо песнь та была написана не на языке людей, а на языке того, что под водою.

Из «Хроники воды». Лист первый.

I. О составителе и о том, как рукопись нашла его

Составитель не искал эту рукопись. Она нашла его — так, как находят летом на берегу вещи, которых никто не теряет: тесло без топора, детский башмачок, письмо, написанное рукой, которой давно нет на свете.

Ему было семьдесят четыре года. Он провёл жизнь, переписывая чужие святыни: старые часословы, синодики, жития святых, чьи имена стёрлись, как имена на могильных плитах. Он думал, что за столько лет научился отличать бумагу, на которой лежит благодать, от бумаги, на которой лежит просто время. Он ошибался.

Он был в Навьей-Губе по поручению Общества любителей древностей — делал снимки и копии для архива, пока церковь на берегу ещё стояла, а не рассыпалась в море окончательно. Часовня, которую читатель увидит дальше в этой книге, стояла на скале над обрывом, и море грызло её основание, как собака грызёт кость. Священник, отец Варфоломей, встретил его без охоты: он был из тех людей, которые пускают постороннего в дом, только чтобы он скорее ушёл.

Ризница была заперта, и Составитель не удивился: в приморских сёлах от чужих запирают всё, даже воздух. Но когда священник отомкнул замок и он вошёл, он почувствовал то, что нельзя передать словами, — ощущение, что в комнате кто-то уже был, ждал его, дышал, не желая быть услышанным. Воздух пах солью, хотя до моря было шагов пятьдесят и окна были заколочены. А потом он увидел сундук — и всё, что случилось потом, случилось не потому, что он был любопытен. Сундук был не заперт. Это была первая странность, которую он заметил: в запертой наглухо ризнице, где пыль лежала ровным слоем на всём, сундук стоял с поднятой крышкой, а подле него на досках пола — мокрые следы. Следы босых ног. Они вели от сундука к стене и там обрывались, как будто человек, стоявший здесь, не вышел в дверь, а растворился, или вошёл в стену, или был только наполовину и не дотянул ногу.

Он не хотел верить собственным глазам. Он был врачом по образованию, он знал, как обманывает зрение в полутьме, как пыль сворачивается в узоры, как трещина в доске кажется шагом. Он сказал себе это тогда — и всё равно не нашёл в себе силы прикоснуться к следам. Он обошёл их, как обходят яму, и открыл сундук.

Внутри лежала бумага. Много бумаги — грубая, жёлтая, края подточены, как будто их ели не черви, а солёная вода. Рукопись была исписана тем мелким, беглым почерком, каким пишут люди, привыкшие записывать тайком и быстро. Он взял верхний лист — и почувствовал, как внутри у него опустилось что-то, что он считал давно и прочно приколотым: спокойствие.

Это была не та рукопись, которую он приехал снимать. Это была исповедь.

Он не знал тогда, что исповедь эта длиннее жизни и что, начав её читать, он уже не сможет остановиться, — что она будет сниться ему, что соль будет оседать на его подоконниках, хотя он жил в губернском городе, за сотни вёрст от моря, — что он начнёт слышать песню, у которой нет слов, и лучшие его часы будут уходить на то, чтобы вспомнить, помнил ли он её прежде.

Потом он узнал больше. Он узнал, что некоторые рукописи не пишутся людьми; точнее — людьми, но людьми, которые уже насквозь пропитаны тем, что описывают, как ныряльщики пропитаны солью, что бы они ни делали. Он держал в руках бумагу, которую держал человек, ушедший в море, — и бумага помнила его ладони лучше, чем Составитель помнил свои.

Он сел на сундук, поднёс лист к окну и начал читать.

За окном стояло море. Ему показалось, что оно подошло ближе, пока он читал первую страницу, — но это всё, что он тогда почувствовал. Он не знал ещё, что по ночам его начнут будить чьи-то шаги в коридоре, что в зеркале он будет ловить лицо, которое не его, что он будет находить на подушке мокрые волосы, которых не оставлял.

Он не знал, что эта книга уже выбрала его — так, как выбирают ножны для клинка.

Позже он переписал рукопись почти буква в букву, смирив гордыню переписчика: этой истории нужен голос очевидца, а не пересказчика. Он оставил все странности, все несообразности, все места, где автор противоречит сам себе, потому что человек, писавший это, сходил с ума и возвращался, и в этих провалах — самое главное.

Только пусть читатель бережётся. Читать следует при свете. Не читать на ночь. И если услышать песню — закрыть книгу.

Ещё не поздно закрыть её.

II. Царь Атар и Тот, Кто спит

Так рассказывалась эта история — та её часть, что случилась за тысячу и тысячу лет до нас, хотя, может быть, и вовсе не в прошлом, потому что у воды нет своего прошлого: всё, что опустилось в неё один раз, остаётся в ней навсегда и может всплыть в любую минуту.

Был на свете остров, которого больше нет, — или, вернее сказать, который есть, но только не там, где его ищут. Звали его Златовратым Градом, а в чужих книгах — Атлантидой, именем царя Атланта, что правил в нём в седую древность. Но ещё раньше, чем Атлант, правил там царь Атар, и о нём-то и повествует хроника.

Атар был молод, прекрасен и горд, как горды бывают только те, кто никогда не терял. Он построил город из белого камня и зелёного золота, с башнями, что доходили до облаков, и с вратами, что были выше врат любого царства на земле. Он осушил болота, обуздал реки, вывел породы рыб, каких не видывал свет, и во всех морях не было моряка, который не знал бы имени Атара и не пел бы песен о его городе.

Но была у него одна болезнь, о которой летописцы предпочитали молчать, потому что о царях не пишут такого, — болезнь, которую врачи именовали бы одержимостью смертью. Атар не мог вынести мысли, что он умрёт. Он не боялся боли, не боялся врагов, не боялся богов; он боялся одного — того мгновения, когда его имя перестанет произноситься живыми губами, когда город его переживёт его, когда трон займёт другой, а он станет прахом под плитой, на которую сядет кто-то чужой, чтобы погреться на солнце.

С годами эта болезнь завладела им целиком. Он перестал спать — нет, он спал, но каждую ночь его будила одна и та же мысль, острая, как заноза: «Этот час я уже не верну. Этот час уже у меня отнят навсегда». Он приказывал убивать вестников, приносивших вести о смерти, даже вести о чужих смертях, — как будто известие смерти могло войти в дом и заразить его. Он поседел, хотя был ещё не стар; он похудел; и придворные шептались, что царь нанял ловцов снов и держит при себе колдунов, которые обещают ему вечность, — но колдуны умирают один за другим, а царь всё ищет.

И вот однажды, в год великого волнения вод, когда море поднялось и затопило низкие берега, Атар вышел на утёс, что смотрел в бездну, и закричал в темноту. Он не знал, кому кричит, — он знал только, что ему нужен ответ, что он больше не может, что если не сегодня — то никогда.

И ответ пришёл.

Не голосом — потому что у Того, Кто спит, нет голоса, каким говорят люди. Ответ пришёл приливом, который поднялся выше, чем поднимался когда-либо, и вода обняла утёс, и в воде Атар увидел то, что видели до него лишь немногие и о чём никто не рассказывал дважды.

Описывать Его нельзя — описывать Его значит звать Его, а звать Его не должно никому. В хронике сказано только, что Он был велик, как ночь, и древен, как сам океан, и что Он не был злым и не был добрым — Он был тем, что есть, тем, что лежит на дне и ждёт, и Его ожидание было терпеливее камня. В нём не было ни жалости, ни жестокости; в нём было то же, что в самой воде: Он брал, что Ему давали, и брал, что не давали, и при этом ни разу не согрешил против себя, потому что у воды нет ни совести, ни греха.

— Чего ты хочешь? — спросил Атар, и голос его дрожал впервые за много лет.

И вода ответила ему, потому что вода — язык Спящего.

— Хочу жить вечно, — сказал Атар. — Хочу, чтобы город мой стоял, когда рухнут все города. Хочу, чтобы имя моё пели, когда забудут имена богов.

И Спящий ответил ему — не словами, а тем, что встало перед ним на воде: город, каким он будет через тысячу лет, — величественный, золотой, бессмертный, и в нём не было ни одного мёртвого. Внутри у Атара что-то оборвалось и распустилось, как парус: он увидел то, чего хотел больше всего на свете, — себя, стоящего на высокой башне, нестареющего, вечного, окружённого сыновьями сыновей, которых не будет конца.

— Дам тебе это, — сказала вода. — Но ничто не даётся даром, и всё, что даёт море, море забирает. Подпиши договор кровью своей — и будешь править вечно.

— Чего ты хочешь взамен? — спросил Атар.

— Песни, — ответила вода.

И Атар, не поняв цены, рассмеялся и согласился. Он разрезал ладонь золотым ножом и написал кровью на листе из рыбьей кожи те слова, которые продиктовала ему вода, и омочил лист в море, и море приняло его.

Вот какие слова были написаны. Текст договора сохранился в старом списке, и переписчик, державший его в руках, не мог поручиться за каждую букву, но помнил одно: когда он читал эту строку, ему казалось, что произносит её не человеческая воля, а что-то, что было под ним, и что его собственный голос читал её так, будто слова уже тысячу лет лежали у него в гортани.

«Я, Атар, царь Златовратого Града, признаю Тебя, Спящего во глубине, богом моим и господином моим, и отрекаюсь от всех иных богов, и обещаю служить Тебе, покуда жив, и по смерти моей, и причинять зло всем, кто встанет между мной и Тобою, и отдаю Тебе власть над телом моим и душой моей, и над городом моим, и над всеми, кто в нём будет жить, и над всеми, кто от меня родится, до скончания времён. Подписано кровью: Атар».

Так начинается история невесты бездны.

И первая мысль, которая приходит всякому, кто читает этот договор, — та же, что пришла переписчику: как легко отдаётся то, чем не владеешь. Атар отдал город, который был не его, отдал души жителей, которых не спрашивал, отдал потомков, которых ещё не было. Он думал, что торгует жизнью; он торговал чужим бессмертием. Так всегда торгуют те, кто слишком дорого ценит свою шкуру: они щедры до преступления, потому что платят не собой.

И то, что произошло дальше, случилось не потому, что Спящий был зол. Спящий не был ни зол, ни добр; он был точен, как прилив. Он взял ровно то, что было ему отдано, — и взял бы не меньше, если бы ему отдали больше, и ушёл бы, если бы ему отказали. В этом и была его сила: ему не нужно было побеждать. Ему достаточно было ждать, потому что он — ожидание.

III. Песнь и невеста

Долго ли, коротко ли — а исполнил Спящий обещанное. Город Атара рос и богател, как ни один город на земле; корабли его ходили во все концы света, и слава его гремела так, что соседние цари слали послов с дарами, лишь бы не гневить. Атар состарился, но не умер, —

он правил сто лет и двести, и вельможи его менялись, как листья, а он всё сидел на троне из чёрного дерева и смотрел на море.

Но была одна малость, о которой он не подумал, когда подписывал договор, — ибо кто из смертных думает о песнях?

В городе жили певцы, каких не видывал свет. Они пели о битвах и о любви, о богах и о героях, и голоса их были сладки, как мёд. И вот в один из годов, когда Атару исполнилось триста лет, к нему привели дочь корабельщика по имени Мэра — девочку с длинными чёрными волосами и голосом, от которого плакали даже старые воины. Она пела так, что рыба поднималась со дна послушать, и луна выходила из-за туч, чтобы не пропустить ни ноты.

Мэра была не просто певицей. Она была той, кого в роду Атара называли «слышащей»: она слышала не только то, что звучит над водой, но и то, что звучит под водой, — и с детства ей казалось, что море разговаривает с ней, что оно знает её имя, что оно ждёт, когда она вырастет. Она никому не говорила об этом, потому что не хватало слов, а те слова, что находились, звучали как бред ребёнка.

И в ночь, когда Мэра пела впервые перед царём, море поднялось выше прилива, и вода вошла в город по колено, и все, кто был в ту ночь у воды, слышали, как поёт что-то в глубине — вторит, сливается, зовёт.

Атар побледнел, потому что вспомнил договор. Он триста лет правил городом, и всё это время где-то на дне его памяти лежала бумага, подписанная кровью, — и он надеялся, что она не понадобится, что море забудет. Море не забывает.

— Это за неё? — спросил он в темноту, и вода ответила:

— Это за песню. Отдай мне ту, что поёт, — и город твой простоит ещё тысячу лет. Не отдашь — и я заберу всё, что дал, и город твой, и тебя самого, и имя твоё.

И Атар, который триста лет не плакал, заплакал, но отдал. Потому что страх перед бездной оказался сильнее любви, — так всегда бывает с теми, кто слишком долго цепляется за жизнь. Он любил Мэру, как любил всё в своём городе, — любовью собственника; но себя он любил страхом, а страх сильнее собственности.

Мэру одели в белое, как невесту, и повели к воде. Она не плакала. Это была первая странность, которую заметили провожавшие: невеста бездны шла к воде, как на праздник, с открытыми глазами, и в глазах её не было ужаса. Она шла потому, что знала: море звало её с самого детства, и теперь зов наконец исполнится. Она не была жертвой; она была той, кто услышал и пришёл. И от этого было страшнее, чем если бы она кричала и вырывалась.

На запястье ей надели обруч из белого металла, каких не куют на земле, и обруч этот врос ей в кожу, и остался на ней навсегда. Она не вскрикнула. Только посмотрела на свою руку, как смотрят на вещь, которую давно ждали, и улыбнулась.

Она вошла в воду, как невеста входит в церковь, — и вода приняла её, как муж принимает жену. И берег, на котором стояли люди, вздохнул — все, как один, — потому что каждый из них почувствовал, что что-то огромное, что висело над городом, в эту минуту стало на полвершка ближе, и что отныне оно будет прозрачнее, и тоньше, и ближе всегда.

И с той поры повелось: каждые двенадцать лет, в год большого волнения вод, в городе рождалась или вырастала девица с голосом, которому вторило море, — и её называли Невестой бездны, и её уводили в воду, и город стоял. Пока платили дань песней — стоял и процветал. А когда платить переставали, море напоминало о себе голодом, болезнями и кораблями, что не возвращались в порт.

Так было сто лет, и двести, и пятьсот.

IV. О тех, кого брало море

Летопись сохранила имена не всех невест — море не хранит имён, оно хранит голоса, — но те имена, что дошли до нас, переписаны в хронику, потому что каждое из них — это человек, и каждый из них шёл к воде со своим сердцем.

Были невесты, которые шли с радостью, как Мэра, — те, кого море звало от рождения и кто всю жизнь тосковал по воде, не зная, по чему тоскует. Одна из них, Хафра, дочь рыбака, не дожила до срока: она утонула сама, за год до того, как должны были прийти за ней, и рыбаки рассказывали, что когда её вытащили на берег, на губах у неё застыла улыбка. Её всё равно обручили и отвели к воде — мёртвую, — потому что договор не различал.

Были невесты, которые шли с ненавистью, — их отдавали силой, и они проклинали царя, и храм, и себя, — и море принимало их, и от них, говорили, вода становилась чёрной на семь дней, и рыба уходила от берегов, не возвращаясь.

Были и такие, которых не находили. За год до срока их родители увозили дочерей на материк, в горы, в чужие страны, — и какое-то время город жил в надежде, что договор порван. Но море находило их. Оно находило их и в горах, и в чужих странах: их находили мёртвыми в закрытых комнатах, с водой на губах, или живыми, но вымокшими до нитки, с глазами, из которых ушло всё, что было в них человеческого. Их привозили обратно — тех, кого можно было привезти, — и обручали, и вели к воде.

А однажды — об этом летопись говорит шёпотом, стыдливо, как о позоре рода, — однажды невесту не нашли вовсе. Её ждали к сроку, и её не было; прочёсывали берег, горы, чужие земли — и не нашли. И в тот год море впервые взяло не невесту, а город: оно поднялось и смыло полквартала, и утопило сто двадцать человек, в том числе царя, который медлил.

Море не любит вспоминать об этом: договор был договор, и цена за пропущенный срок была показана всем. С тех пор невест не искали — их берегли, как берегут урожай: холили голоса, запирали от чужих глаз, учили не смотреть на воду, чтобы вода не научилась смотреть в ответ.

История невест — это история того, как род, продавший себя за вечность, учился платить.

V. Потопление Града

Но не вечно живёт и страх, — и вот нашёлся царь, который решил, что хватит. Звали его Атлант, и был он праправнуком Атара, и был он горд, как прадед, но не так мудр, и сердце его не знало той подкожной дрожи, которая всю жизнь грызла Атара. Атлант не боялся смерти — он над нею смеялся: он был молод, силен, и смерть казалась ему сказкой, которой пугают слабых.

Когда в его правление пришёл срок отдавать очередную невесту, он отказался. Он созвал совет, и старейшины говорили ему о договоре, и он, слушая их, улыбался — той улыбкой, от которой у стариков холодело внутри.

— Довольно, — сказал он. — Мы сильнее. Мы построили город, которому нет равных; пусть море берёт камни, а не наших дочерей. Мой прадед продал нас тьме, потому что боялся умереть. Я не боюсь. И я выкупаю нас обратно.

И в знак презрения он велел заковать невесту в цепи и бросить в темницу, а на берегу — сжечь статую Спящего, что стояла с незапамятных времён, вытесанная из чёрного камня, которого нет на земле.

Статую жгли три дня. Она не грелась, говорят летописцы: огонь лизал её, и чёрный камень оставался холодным, и дым от костра шёл прямо вверх, хотя на море был ветер. К исходу третьего дня статую оставили как она была, чёрную и целую, и люди начали избегать берега, потому что им казалось, что статуя смотрит.

В ту же ночь началось то, что летописцы называют Потоплением Града, а моряки — Днём, когда море встало.

Море встало. Не волной — волны приходят и уходят, — а целиком, всем своим телом, и поднялось оно выше башен, и выше облаков, и город Златовратый, город белого камня и зелёного золота, город, которому не было равных, ушёл под воду целиком, с башнями, с дворцами, с храмами и с людьми.

Но — и об этом не пишут ни в одной книге, кроме этой хроники — город не погиб. Он не утонул; он был взят. Спящий не любит терять. Он взял город, и город стал Его — Его телом, Его домом, Его невестой. Люди града не утонули; они стали жить под водой, как жили над ней, — только сначала они, наверное, кричали, а потом разучились кричать, потому что кто-то, кто долго спит, забрал у них голоса, чтобы они не пели.

А невесту, что была закована в цепи, Спящий взял первой — её, Атлантову невесту, звали тоже Мэра, как и первую, или, может быть, это была она сама, потому что под водой время течёт иначе, и первая невеста до сих пор ждёт.

С той поры Златовратый Град лежит на дне, и раз в двенадцать лет, в год большого волнения вод, он поднимается на одну ночь — поднимается, чтобы напомнить: я здесь, я жду, я не умер.

И в те ночи на берега выходит из воды то, что осталось от его жителей, — и не дай небо встретить их.

VI. Пророчество

В хронике есть и пророчество, записанное, как говорят, рукой первой царицы Мэры перед тем, как она вошла в воду. Без него непонятна вся дальнейшая повесть. И переписчик, списывавший эти строки, рассказывал, что перо его дважды останавливалось, и он дважды выходил на крыльцо — подышать, — хотя на дворе нечем было дышать, потому что стоял сухой и тихий день.

«Доколе платит род дань песней — доколе стоит Град. Придёт время, когда родится последняя из рода невест, — девица, в чьей крови будет и кровь Атара, и кровь Мэры, и кровь всех, кого брало море. Она будет петь не по приказу, а по воле, и голос её будет сильнее голоса Спящего.

И тогда будет ей дано: спеть песнь конца.

Песнь конца оборвёт договор, и Град уснёт навеки, и Спящий уснёт в нём, как спят мёртвые, — но цена песни такова, что заплатит её не та, что поёт, а тот, кто её полюбит. Ибо договор не рвётся даром: кто-то должен остаться в глубине вместо всех.

Блажен, кто не доживёт до той поры. Ибо любовь, которая спасёт мир, убьёт любящего».

Вот что говорит хроника. Но на обороте этого листа, на самой кромке, где бумага потемнела от соли, найдены строки, написанные другой рукой, — более поздней, торопливой, и они не были переписаны ни в один список, потому что их, видимо, не успели переписать или не захотели. Вот они:

«И ещё записано, тайно: та, что споёт песнь конца, не умрёт, но лишится памяти, и голоса, и той половины души, что пела, — и будет жить, не зная, что спасла род, и слушать море, не понимая, почему плачет. А тот, кто останется в глубине вместо неё, будет помнить всё, всегда, ибо память — его наказание и его единственное имущество».

Переписчик долго сидел над этими строками. Ему было холодно, хотя печка была натоплена. И он понял, что держит в руках не легенду.

Он держал в руках приговор.

VII. Сон составителя

Здесь кончается первый лист рукописи, и начинается то, что переписчик и составитель должен был рассказать сам, потому что дальше хроника переходит в исповедь, и исповедь эту писал не безвестный летописец древности, а человек, живший в нашем веке, человек, которого невозможно было не узнать по этим страницам, — господин Северин Романович Лазарев, врач и путешественник, оставивший Петербург ради северных становищ и не вернувшийся в столицу до конца дней своих.

Рукопись его найдена в ризнице старой часовни на берегу Белого моря, в становище Навья-Губа, — найдена спустя много лет после того, как он исчез, и найдена в сохранности, хотя море вокруг становища точит камень, а время точит всё.

Она называлась просто: «Она поёт во сне».

Составитель переписал её почти без изменений, смилив гордыню переписчика, — потому что у этой истории есть право быть рассказанной так, как её рассказал очевидец, а не так, как её пересказал бы человек, не слышавший песни.

Но прежде чем отдать эту исповедь читателю, он должен был рассказать о том, что случилось с ним, пока он её переписывал. Ибо нельзя было, чтобы читатель считал его безумцем; ему нужно было, чтобы читатель знал, с чем имеет дело, и мог вовремя закрыть книгу.

Первое время всё было хорошо. Он работал спокойно, как работал всегда: склонясь над столом, при свече, переписывая бисерные строчки начисто, в хорошем, ровном почерке. Рукопись ему нравилась — нравилась своей странной, певучей печалью. Но на третью ночь он проснулся от того, что в комнате пахло морем. Он не жил у моря; он жил в губернском городе, где пахнет пылью, самоварами и вокзалом. А тут — соль, йод, водоросли, так остро, что захватывало горло.

Он встал, прошёлся по комнате. На подоконнике, он увидел, лежал тонкий слой соли — мелкой, сероватой, морской. Комната была закрыта; окна не открывались с зимы. Он стёр соль рукой — она осталась на ладони, сухая, настоящая.

На четвертую ночь он услышал песню.

Она была тихая, без слов, и шла как будто из-под пола, из-под земли, из-под фундамента дома, — и он узнал её сразу: это была та самая песня, о которой он читал днём, — песня невесты бездны. Он зажал уши подушкой, но песня шла не через уши — через кости, через зубы, через затылок.

Он не спал до утра.

На пятую ночь он увидел её. Она стояла в коридоре, в темноте, у двери в его комнату, — нет, он не видел её целиком; он видел только край белого платья и мокрые волосы, тяжёлые, как канаты, — и слышал, как с них капает вода на половицы.

Он зажгёт свечу — коридор был пуст. Но на полу были мокрые следы. Они вели от его двери к стене и там обрывались, как те, что он видел в ризнице.

Он не сказал никому. Кому он мог сказать? Врачу — что его по ночам навещает мокрое платье? Себе самому — что он начинает сходить с ума? Он продолжил переписывать. И с каждым днём песня становилась ближе, и соль на подоконнике — толще, и он начал ловить себя на том, что бормочет вслух её мелодию, ту самую, которой нет в нотах и которую нельзя переписать.

Он понял, что рукопись не просто рассказывает историю. Она ищет продолжения. Она ищет читателя, который дочитает её до конца и поверит, — потому что только поверивший узнает песню, и только узнавший песню сможет её передать дальше.

Он не хотел быть этим читателем. Но он уже был им.

Поэтому он дописал этот пролог и отдал рукопись целиком, с предупреждением: если где-то в ней читатель почувствует, что за его спиной стоит тишина плотнее, чем должна быть, — пусть закроет книгу. Если услышит песню — пусть не оборачивается. Если найдёт на подоконнике соль — пусть уезжает.

Он ещё может уйти. А Составитель уже не мог: он дошёл до того места, где рукопись знает его имя, а он забыл, как оно звучало до неё.

И всё же, если читатель держит эту книгу в руках, он должен знать: всё, что в ней написано, — правда. Не та правда, которой учат в школах и которую проверяют приборами, а та, что живёт на дне, ждёт и помнит.

Ибо море не забывает.

Оно лишь ждёт, когда вспомнишь ты.

— Составитель

Глава 1. Гость из столицы

Чужака спроси: зачем пришёл? Ибо вода не любит, когда её спрашивают, зачем она течёт; и чужие сны не любят, когда их будят. Из *«Хроники воды»*. Глава первая.

Северин приехал в Навью-Губу в конце сентября, и первое, что он увидел, была не деревня, а вода — серая, тяжёлая, плоская, как старый свинец, вода, которая занимала полнеба и, казалось, не кончалась нигде. Второе, что он увидел, была лошадь, которая не хотела идти вперёд, и возница, который не хотел говорить, и дорога, которая кончалась в этой воде, как язык, кончающийся в зубах.

— Дальше, барин, пешком, — сказал возница и сплюнул в сторону, как будто море ему было неприятно на вкус. — Я до поворота, а там уж сами. Вас, поди, встретят.

Он не спросил, зачем Северин едет. За всю дорогу он не спросил его ни о чём, и это было странно, потому что в губернии все говорят со всеми, а проезжий человек из столицы — это событие, о котором говорят год. Но этот возница молчал, как будто за разговор с чужим можно было заплатить чем-то, чего у него не было. Несколько раз Северин ловил его взгляд в зеркальце повозки — возница смотрел не на дорогу, а на него, и всякий раз отводил глаза, как будто боялся, что Северин заметит в его взгляде что-то, чего не должен замечать.

Северин сошёл на землю — землю, которая, как он потом понял, никогда не бывает сухой до конца, — и пошёл вперёд по утоптанной тропе между двумя рядами низких изб с тёмными, как провалы, окнами. Было раннее утро, но деревня выглядела так, будто не ложилась спать никогда: у одного двора стояла баба с ведром и смотрела на него без любопытства, как смотрят на прилив; у другого — старик чинил сеть, и пальцы его двигались сами, а глаза следили за Северином из-под кустистых бровей.

Никто не поздоровался. Никто не окликнул. Его провожали взглядами, как провожают незваную тень.

Он был врачом. Он привык, что его либо не замечают, либо замечают с надеждой или со страхом — в зависимости от того, что у человека болит. Здесь не было ни надежды, ни страха. Здесь было что-то иное, чему он не сразу нашёл имя, и только к вечеру, когда он лежал в темноте и прислушивался к собственному сердцу, он понял, что это было.

Его провожали взглядами, какими провожают покойника: вежливо, издалека, заранее простившись.

Он знал это место понаслышке. Навья-Губа — становище на берегу Белого моря, известное разве что дурной славой: рыба здесь ловилась худо, но упорно, лето было коротким, зима длинной, и люди здесь, говорили, живут, как морские — по своим законам, чужих не любят, а от воды не отходят. Ему нужно было это место для работы: он собирал для этнографического общества поверья северных становищ, и о Навьей-Губе в архивах ходили такие предания, что от них у трезвого человека волосы дыбом вставали.

Предания он собирал. В чудеса — нет. Он был врачом, он верил в пульс, в температуру, в законы физики, и за четыре года практики он научился одному: у любой жути, если докопаться до дна, оказывается простое дно — грязь, болезнь, страх и человеческая глупость, помноженная на темноту.

В Навьей-Губе темноты было достаточно, чтобы помножить.

Но он не сказал бы всей правды, если бы не признался: он приехал сюда не только за преданиями. Он бежал. Не от закона — от памяти. Два месяца назад умерла женщина, которая была его пациенткой, — умерла на его операционном столе, хотя он сделал всё, что умел, и даже больше, чем умел. Её звали Вера Андреевна, ей было сорок два года, у неё был муж и двое детей, и она умерла от того, что он, как ему казалось, вырезал ей — а оказалось, вырезал не то. На вскрытии выяснилось, что опухоль, которую он удалил, была доброкачественной, а

настоящая, злая, сидела глубже и дала метастазы, которых он не увидел, потому что торопился и потому что был уверен в себе.

Ему не предъявили обвинения. Врачебная ошибка — не преступление, особенно для тех, кто смотрит на это со стороны. Но по ночам, закрывая глаза, он видел её лицо — спокойное, восковое, с закрытыми веками, — и слышал голос её мужа: «Вы обещали, что она будет жить». Тот не кричал. Он просто сказал это. И эти слова легли на дно его души, как камень на дно колодца, и вода в этом колодце теперь была мутной навсегда.

Навья-Губа была его изгнанием. Он выбрал её потому, что она была далеко, и потому, что здесь никто не знал его имени, и потому, что ему казалось: если он запишет достаточно много чужих страхов, он забудет свой собственный.

Он ошибался. Но тогда он этого не знал.

I

Старосту нашли на пристани. Звали его Корней Зыков, и был он мужик лет пятидесяти, кряжистый, с лицом, изъеденным ветром до цвета старой парусины, и с глазами, которые, как Северин заметил сразу, никогда не смотрели на море дольше мгновения.

— Из столицы, значит, — сказал он, выслушав Северина, и по тону его нельзя было понять, хорошо это или дурно. — Наши-то поверья записывать приехал? Ну, записывай. Дело твоё.

— Мне бы избу на постой, — сказал Северин.

— Изба найдётся, — сказал он. — У вдовы Хромовой, на отшибе. Чистая, сухая. Харчи — к Ульяне ходи, она кормит. Деньги у тебя при себе?

Северин сказал, что при себе. Зыков кивнул и пошёл вперёд, не оборачиваясь, и Северин пошёл за ним, и они шли по деревне молча, и молчание это было плотным, как туман, который к полудню поднялся с моря и лёг на избы.

— Дурная слава у вашего места, — сказал Северин, чтобы что-нибудь сказать.

— Не у места слава, — сказал Зыков, не оборачиваясь. — У воды.

— И что же вода?

Он остановился. Помолчал. Потом сказал вполголоса, и Северин еле расслышал:

— Вода у нас берёт. Каждые двенадцать лет берёт. Ты уж, барин, не смейся над стариками. Смейся над кем хочешь, а над водой не смейся. Вода у нас — как церковь. Только молиться в ней надо уметь.

— Берёт кого? — спросил Северин.

— Что положено, то и берёт, — сказал он и зашагал дальше так быстро, что Северин понял: разговор окончен.

Они прошли ещё немного, и Северин заметил, что деревня, при всей своей обычности, устроена странно. Все избы стояли лицами от моря — не к нему, а от него, — спиной к воде, как будто деревня отворачивалась. Окна, смотревшие на море, были заколочены досками или завешены изнутри; у тех же домов, что стояли к воде торцом, глухие стены были обращены к прибою. Только одно окно — в доме, стоявшем на самом краю, у самой воды, — было открыто настежь, и в нём, Северин увидел, колыхался тюль, хотя ветра не было.

— Чей это дом? — спросил Северин, кивнув на него.

Зыков остановился, как будто наткнулся на невидимую стену. Он посмотрел на открытое окно, и лицо его — лицо человека, привыкшего не показывать своих чувств, — на мгновение стало другим: бледным, напряжённым, как будто он смотрел не на окно, а в лицо кому-то, кого боялся.

— Это не дом, — сказал он наконец. — Это часовня.

— Часовня в деревне? — удивился Северин. — Обычно часовни за околицей.

— У нас не обычная, — сказал Корней Зыков и пошёл дальше, не оглядываясь, и Северин понял, что на сегодня староста выдохся, что слова — не его ремесло, и что то, что он уже сказал, стоило ему больше, чем он может себе позволить.

За ним Северин пошёл, чувствуя, как в душе заворачивалось то, что он старался не выпускать на свет: профессиональное любопытство. Странные деревни, странные окна, странные взгляды — всё это укладывалось в привычную схему «глухомань и суеверия». Но часовня, стоящая на краю воды, лицом к прибою, с открытым окном, — это уже не суеверие. Это архитектура страха, а страх у архитектуры всегда есть свой смысл.

Избу Северину дали верную: чистую, с русской печью, с окном на море, с запахом сушёной рыбы и старого дерева. Хозяйка, вдова Хромова, сунула ему в руки связку ключей, оглядела его с ног до головы и сказала:

— Ты, барин, по ночам-то к воде не ходи. По ночам у нас вода поёт.

— Поёт? — переспросил Северин, доставая блокнот. — Это интересно. Кто поёт?

— Никто, — сказала она и перекрестилась. — Вода поёт. А ты спи, барин. Кто ночью воду слушает, тот утром с ней и говорить научается, а с ней говорить — себе дороже.

Северин записал в блокнот: «Поверье: вода поёт по ночам. Запрет слушать». И подумал, что за месяц здесь он соберёт такого материала, что общества хватит на пять монографий.

Он ещё не знал, что хроника уже ведёт его, как ведут за руку в тёмный коридор, — и что записывать здесь придётся не поверья, а быть.

Вечером он пошёл к Ульяне — есть. Она жила на другом краю деревни, в низкой избе, заваленной травами: они висели пучками под потолком, лежали на лавках, пахли полыньёю, мятой и ещё чем-то горьким, чему Северин не знал имени и которое, как он потом понял, было морской солью, смешанной с сушёной ламинарией.

Ульяна была стара. Не просто стара — она была той старостью, которая похожа на море: бесцветная, бесконечная, спокойная на поверхности и неизвестно какой в глубине. Она посмотрела на Северина, когда он переступил порог, и долго смотрела, не здороваясь, как будто читала его, как читают письмо, — и лицо её при этом не менялось.

— Садись, барин, — сказала она наконец. — Ешь. Потом говорить будем.

Северин сел. Она подала уху — густую, жирную, в которой плавали ломти белого хлеба, — и он ел, а она сидела напротив и смотрела, и только когда он доел, она сказала:

— Ты не за поверьями к нам приехал. Ты от чего-то бежишь.

Северин поперхнулся. Не от ухи — от её слов.

— С чего вы взяли? — спросил он.

— А с того, — сказала она спокойно, — что бегущий не оглядывается, а ты оглядываешься. Я старая, я много видела бегущих. Все они думают, что бегут от чего-то позади, а бегут к чему-то впереди. Ты — к нам. А к нам зря не бегут.

— К вам — это куда?

Она посмотрела на него долгим, пустым взглядом, как будто он спросил её, где находится море.

— К воде, — сказала она. — Ты к воде бежишь, барин. Только ты об этом ещё не знаешь. Ложись спать. Завтра вода сама тебе скажет, зачем ты пришёл.

Северин ушёл от неё, не зная, что думать. Старуха говорила загадками, как все знахарки, и он, врач, привык расшифровывать такие речи: за каждым «поверьем» стоит реальная история — болезнь, смерть, страх. «Ты к воде бежишь» — бессмыслица. Но она сказала это так, что у него по спине пробежал холод, как будто она прочитала не его мысли, а что-то, что было под ними, глубже, — что-то, чего он сам в себе не читал.

Ночью он не спал. Не из-за страха — из-за тишины, которая была слишком полной, как будто деревня, лёгшая спать, дышала вся сразу и в одно дыхание. Он лежал на жёсткой лавке,

смотрел в черноту потолка и думал о Вере Андреевне, о её лице, о голосе её мужа, о том, что он оставил в Петербурге, — и вдруг, посреди этих мыслей, он услышал её.

Пение.

Сначала он подумал, что ему почудилось, — так оно было тонко, далеко, как будто сквозь воду. Но оно не уходило. Оно поднималось откуда-то снизу, из-под земли, из-под избы, из-под деревни, — и оно было так странно, так не похоже на всё, что он слышал, что он сел на лавке, не понимая, спит он или бодрствует.

Песня была без слов. Точнее — слова в ней были, но не на языке, который он знал, и не на языке, который он мог бы узнать; это был голос без слов, который сам был словом, — длинный, тянущийся звук, как будто кто-то звал кого-то по имени, но имени этого не было ни у кого на земле.

Он шёл оттуда, где стоял маяк, — Северин понял это по тому, откуда приходил звук, — и он шёл не по ветру, а как будто по воде, как будто воде было всё равно, откуда дуть.

И тут он понял, что не дышит.

Он сидел на краю лавки, прижав руки к груди, и не дышал — потому что песня, эта песня без слов, делала с ним то, чего не делала ни одна песня: она входила в него, как вода входит в песок, — заполняя, вымывая, оставляя после себя пустоту, которую ему некогда было чем заполнить. И в этой пустоте, на самом дне, он услышал свой собственный голос — тихий, удивлённый, почти детский: «Я знаю её. Я всегда её знал».

Он заставил себя вдохнуть. Воздух был солёным, хотя окна были закрыты и до моря было далеко.

Он оделся. Взял фонарь. Вышел.

Ночь была черна, как могила, и полна моря — море было везде, оно дышало, оно пахло солью и йодом, оно мокро лежало на тропе, и он шёл по нему, поднимая брызги, к огоньку маяка, который мигал вдали, как единственный глаз деревни, не желающий закрываться.

Маяк стоял на скале, отдельной от берега, и к нему вела узкая коса, которую прилив то открывал, то закрывал. Сейчас коса была открыта — луна, выглянувшая из-за туч, лежала на ней серебряной дорожкой, — и он пошёл по ней, и с каждым шагом пение становилось яснее, и сердце его, он не стыдился признаться, билось так, как не билось никогда, — не от страха, а от чего-то, чему он не знал имени.

Пение шло из маяка. Из башни, из самого её верха, оттуда, где горел огонь.

Он остановился у подножия. Дверь башни была приоткрыта — створка вздрагивала от ветра, и из щели лился тёплый свет.

И тогда он услышал голоса — живые, человеческие, изнутри:

— Опять запела, — сказал голос, мужской, низкий. — Замолчи, Христа ради. Замолчи, Нера.

— Не могу я её, тять, заставить, — ответил другой голос, женский, тонкий. — Она сама.

— Зови Ульяну. Пусть придёт. Пусть отчитает её, покуда не поздно.

— Тять...

— Зови, говорю. Или ты хочешь, чтоб она, как мать её, — в воду?

Дальше Северин не слушал. Он толкнул дверь.

Внутри маяка было тесно и жарко. Винтовая лестница уходила вверх, в темноту, и по ней, как по спирали, карабкался свет от зажжённой в вышине лампы. Внизу, у лестницы, стояли двое — старик в засаленной одежде зрителя и девушка в тёмном платке. Они обернулись на скрип двери, и в глазах старика Северин увидел не удивление, а страх, и страх этот был такой старый, такой привычный, что он понял: старик боится не его. Он боится того, что гость мог услышать.

— Ты что тут, барин? — спросил он, и голос его был ровный, а руки тряслись.

— Услышал пение, — сказал Северин. — Не мог уснуть. Что здесь поёт?

Старик посмотрел на девушку. Девушка отвела глаза.

— Ничего, — сказал он. — Вода шумит. Вода у нас, слышь, шумит по-разному. Ступай спать, барин.

А потом сверху, из темноты, из-под самой лампы, донёлся звук — и Северин узнал его. Это был вздох. Длинный, тянущийся, человеческий вздох, как будто кто-то наверху долго не дышал и наконец выдохнул.

И вслед за вздохом — голос. Тот самый. Тот, что он слышал с берега, — только теперь вблизи он был не зовом, а песней: тихой, колыбельной, какую поют не ребёнку, а морю, как будто убаюкивают его, как будто уговаривают спать дальше.

Старик перекрестился. Девушка в платке закрыла лицо руками.

— Кто там? — спросил Северин, и голос его прозвучал громче, чем он хотел.

— Дочь моя, — сказал старик. — Спит. Она во сне поёт. Всегда поёт во сне. Ступай, барин. Христа ради, ступай.

Но он не ушёл. Он шагнул к лестнице и поднялся на несколько ступеней — не из любопытства, нет; он врач, и он слышал о сомнамбулах, о лунатиках, поющих во сне, о болезнях, при которых человек говорит и двигается, не просыпаясь. Ему нужно было увидеть пациентку. Он оправдывал себя этим — профессией, долгом, наукой.

Истина была проще: ему нужно было увидеть её.

Он поднялся по винтовой лестнице, и ступени скрипели под ногами, и фонарь его раскачивался, роняя тени, и пение становилось всё ближе, всё полнее, всё неотвратимее, и в какой-то момент он перестал слышать собственные шаги, потому что песня заполнила всё — лестницу, воздух, кровь в его жилах.

Он вышел наверх, в комнату лампы.

Свет от лампы бил в лицо, и сначала он ничего не видел, кроме него. Потом глаза привыкли, и он увидел её.

Она лежала на узкой железной койке, у самой лампы, — лежала на спине, с закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, бледная до синевы, как будто не спала, а лежала в гробу. Волосы её — длинные, светлые, почти белые — разметались по подушке, и одна прядь, серебряная, тяжелее остальных, лежала на её щеке, как след руки.

И она пела.

Рот её был чуть приоткрыт, и из него шла песня — та самая, без слов, тянущаяся, — и лицо её при этом было спокойно, как лицо спящего младенца, и он вдруг понял, что не может дышать, потому что эта песня — он не знал, как объяснить это человеку, который не слышал, — была не красивой и не страшной. Она была необходимой. Как будто эта песня держала что-то на месте, что-то огромное, что без неё проснулось бы и поднялось, — и если она замолчит, случится то, чего не поправить.

Он стоял и слушал. Не знал, сколько. Может, минуту. Может, час.

Потом она открыла глаза.

Они были серые, почти бесцветные, как северное небо, и они смотрели на него — и в них не было ни сна, ни пробуждения, ни узнавания, ни испуга. Только спокойствие, глубже которого он ничего не видел в жизни.

Песня оборвалась. Тишина хлынула в комнату, как вода в пробоину.

— Ты кто? — спросила она, и голос у неё был тихий, но не слабый — как будто она привыкла говорить шёпотом, чтобы не разбудить что-то, что спит рядом.

— Северин Лазарев, — сказал он и услышал, что голос его дрожит. — Врач. Из Петербурга.

— Врач, — повторила она, и на мгновение ему показалось, что она улыбнётся, — но она не улыбнулась. — К нам врачи не приезжают. К нам приезжают, когда уже поздно.

— Когда поздно для чего?

Она не ответила. Она посмотрела мимо него, на тёмное окно, за которым плескалось море, — и он увидел, как на её лице что-то изменилось, как будто она услышала что-то, чего не слышал он.

— Ты слышал, как я пою, — сказала она. — Это плохо.

— Почему?

— Потому что кто слышит песню, — сказала она, и голос её стал тише, как будто ей самой было страшно произносить эти слова, — тот уже наполовину в воде.

Дверь внизу хлопнула. По лестнице загремели шаги — тяжёлые, торопливые.

— Нера! — крикнул снизу старик. — Нера, ты там?!

Она села на койке, быстрым движением, как будто её дёрнули за нитку, и в лице её, секунду назад спокойном, вдруг проступило то, что Северин увидел бы у любой другой девушки её лет — смущение, испуг, желание, чтобы он ушёл.

— Уходи, — сказала она. — Пожалуйста. Тять не велит никому со мной говорить. И он прав. Ты хороший, я вижу. Но ты уходи, пока не поздно.

— Пока не поздно для чего?

Она не ответила. Она повернулась к стене, натянула одеяло до подбородка, как ребёнок, и через мгновение он услышал её дыхание — ровное, глубокое, — и понял, что она уже спит.

На лестницу поднялся старик. Он стоял, тяжело дыша, смотрел на Северина, и в глазах его стояли слёзы — злые, мужские, которые он не давал себе пролить.

— Уходи, барин, — сказал он. — Уходи из деревни, покуда цел. Ты её разбудил. Ты её разбудил, а она теперь будет тебя видеть во сне.

— Что значит — будет видеть во сне? — спросил Северин.

— А то и значит, — сказал он и перекрестился на тёмный угол. — Что море теперь тебя знает. Иди. Иди, покуда коса не закрылась, покуда вода не взяла тебя в список.

Северин спустился вниз и вышел в ночь.

Коса была ещё открыта — вода лизала её края, готовая сомкнуться. Он перешёл её вброд, по щиколотку в холодной воде, и обернулся.

Маяк горел. Деревня спала.

Но он знал — в ту ночь он уже знал, — что не уснёт. Потому что песня стояла в ушах, как стоит вода в лёгких утопленника, и он вдруг понял, что не может вспомнить, как она выглядит, — а между тем мог бы нарисовать её лицо с закрытыми глазами.

Он вернулся в избу, лёг, не раздеваясь, и смотрел в потолок до рассвета.

И где-то между сном и явью, уже на краю забытья, он снова услышал её — песню, без слов, тянущуюся, — и ему показалось, что на этот раз она поёт не для моря. Для него.

И он, врач, человек науки, человек, который верит только в пульс и температуру, — лежал в темноте чужой избы и слушал, и думал о том, что эта песня — самая правильная вещь, которую он слышал за последние два месяца, с тех пор как на его операционном столе умерла женщина, которую он не смог спасти.

Он думал об этом, и ему было стыдно, и ему было хорошо, и он не мог разобраться, что из этого сильнее.

Наутро он сказал себе: это была сомнамбула, типичный случай, он видел такие, ему нужно просто осмотреть её, узнать историю болезни, записать наблюдения — и уехать, как собирался, через месяц.

Он лгал себе. Он это знал.

И, видимо, море знало тоже — потому что, как оказалось, оно уже записало его в свой список, и вычёркиваться было поздно.

II. Письмо, которое не ушло

На следующий день Северин написал письмо в Петербург — своему старому товарищу, профессору Гроссу, у которого учился. Он писал о Навьей-Губе, о поверьях, о воде, которая

поёт по ночам, — писал легко, как пишут другу, — и в конце, почти не думая, приписал: «Здесь есть девушка, которая поёт во сне. Я видел её. Она не сумасшедшая и не больная — она, мне кажется, совершенно здорова, и это самое страшное, что я могу сказать о своих пациентах».

Он отдал письмо Зыкову — тот возил почту в уезд — и забыл о нём. Письмо ушло.

Ему не ответили.

Не то чтобы он ждал ответа — Гросс был занятой человек, — но прошло две недели, потом месяц, а ответа всё не было, и Северин начал ловить себя на том, что ждёт его с болезненным нетерпением, как ждут приговора.

А потом Зыков, который ездил в уезд, вернулся, и Северин спросил его, не было ли ему письма.

Он посмотрел на Северина, помолчал и сказал:

— Было, барин. Только не знаю, дошло ли до тебя.

— Как это — не знаю? — спросил Северин. — Письма или есть, или нет.

— То-то и дело, — сказал он, — что спорют. Унёс я письмо твоё в уезд, а когда вернулся, нашёл на столе у себя в избе письмо — тебе, от профессора. Положил я его на божницу, чтоб отдать. А утром — нет письма. Пропало. И следов никаких. Мышь бы погрызла — обрывочки бы остались. А тут — как не было.

— Вы шутите, — сказал Северин.

— Не шучу, барин, — сказал он. — Я такое не шучу. Пропало письмо, и всё тут. У нас, слышь, тут всякое пропадает. Особенно то, что от чужих краёв идёт.

Северин не стал спорить. Он решил, что письмо потерялось при пересылке, — так бывает, — но вечером, сидя в избе, он поймал себя на том, что смотрит на божницу в углу, где Зыков держал письмо, и думает: «Кому может быть нужно, чтобы мне не дошло письмо?»

И он не мог ответить себе на этот вопрос — и от этого вопроса ему стало холодно.

Он ещё не знал, что в Навьей-Губе чужие письма не доходят, что чужие нитки рвутся, что чужие следы замечает вода, — что деревня, как живой организм, отторгает всё, что идёт от внешнего мира, потому что внешний мир — это мир, в котором она не хочет существовать.

Мир, в котором девушка, поющая во сне, — это просто девушка, поющая во сне.

А в мире Навьей-Губы это было не так.

III. Вдова, которая знала

К концу первой недели Северин перезнакомился почти со всей деревней — насколько это было возможно с людьми, которые здоровались с ним, как со стеной. Бабы здоровались, мужики здоровались, но все смотрели сквозь него, и никто — ни один человек — не сказал ему ни слова о девушке с маяка, хотя он не спрашивал. А он не спрашивал, потому что боялся: он понял, что в этом молчании есть закон, что задавать вопросы о ней — всё равно что трогать руками что-то, что не велено трогать.

Но однажды, в субботу, его окликнула вдова Хромова — та самая, у которой он снимал избу. Она стояла у крыльца с ведром, и лицо её было серое, как её ведро, и она сказала, не глядя на него:

— Ты, барин, к ней не ходи. Днём не ходи и ночью не ходи. Она не для тебя. Она ни для кого.

— О ком вы? — спросил Северин, хотя знал.

— О Нере, — сказала она, и голос её дрогнул. — О дочке маякового. Она обручена, барин. Она обручена с той поры, как родилась. Её мать, покойница, — та же была: пела, ходила по ночам к воде. И ушла. Взяла её вода. И Неру возьмёт. Это как по писаному. Только ты не лезь, барин. Кто в это лезет, тот сам на дне оказывается. Я тебе добра желаю. Не ходи к ней.

— Кто её обручил? — спросил Северин. — С кем?

Вдова Хромова посмотрела на него — и в глазах её было то, что он видел у Никандра, у Зыкова, у Ульяны: жалость и усталость, как будто она смотрит на человека, который уже стоит по самое горло в воде, но ещё не понял этого.

— С кем обручила, с тем и обручила, — сказала она. — Не спрашивай, барин. Спрашивать не надо. Ты учёный, ты умный, — уезжай ты. Уезжай, куда с тобой не случилось то, что случается со всеми, кто суётся.

Она ушла, и Северин остался на крыльце, и слово, которое она сказала, — «обручена» — стояло в нём, как заноза.

Обручена.

Он знал это слово. Его говорят о невестах. Но в устах вдовы Хромовой оно звучало иначе — как приговор, как клеймо, как название болезни, от которой нет лекарства.

В ту ночь он снова слышал песню, и он уже знал, чей это голос, и он стоял у окна, и смотрел на маяк, и ему казалось, что маяк смотрит на него, — и что между ними, через воду, через ночь, через всю эту чужую, солёную тьму, протянута нить, тонкая, как паутина, и что по этой нити к нему идёт её песня, — и что он не хочет её обрывать.

Он был врачом. Он должен был уехать. Он должен был написать об этом случае в «Медицинский вестник» — «Сомнамбулизм в северных становищах», — и уехать.

Он не уехал.

Он сказал себе, что остаётся из профессионального интереса.

Ложь. Уже тогда он знал, что это ложь.

Он оставался, потому что её песня, эта песня без слов, была единственной вещью за последние два месяца, которая не причиняла ему боли.

Он оставался, потому что боялся уехать и снова остаться наедине с лицом Веры Андреевны.

Он оставался, потому что полюбил. Он ещё не давал этому имени — он, врач, учёный, человек, который всё называет, — но это уже было в нём, как болезнь, как опухоль, как то, что он не смог вырезать у Веры Андреевны, потому что не увидел вовремя.

Он полюбил её — девушку с маяка, которая пела во сне.

И это, он знал, было началом конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.